

БАБЬЯ ЛЕСХА

Я тебя назову существительным женского рода

А.Еременко

Всё поздно. Ничего не поделаешь. Теперь жить как живётся. С этой стигмой незатянувшейся. Мне терпения не занимать. Я мою посуду возле открытого окна и слышу, как за стеной у соседей назревает очередное. Мне не до них. У меня в сорок с хвостом жизнь рухнула. Всё поздно. Ничего не поделаешь. Почему я всегда любила мыть посуду? Это время отводилось на себя, на *подумать*. Это пауза, ну как лестница или поезд, когда время идёт, а ты привязан к месту, к обстоятельству, завис – между прошлым и будущим. Мать возмущается, если я словно бы уснула под струёю. Деньги, тарифы, ЖКХ, правительство, премьер, президент, рассеянный с улицы Бассейной – без пауз выстраивается логическая цепочка её упрёков. Да, я умею уплывать в кучевые облака раздумий, замерзать над своим в чужом горячем разговоре. Лето выключили, как горячую воду – по графику. Была бы жара, под ледяной водой приятно сделалось бы мыть посуду. Но нет, жара ушла. Всё поздно. Все пасмурно. И у меня. И у лета. Ничего не поделаешь.

У соседей за стеной что-то массивно ухнуло и потянуло за собой версии. Назревает очередное. У нас кухни соприкасаются и балконы, хотя квартиры в разных подъездах. В комнате матери и сестры соседей не слышно, а вот на кухне или с моей балконной раскладушки отчётливо доносится вся ненужная тебе посторонняя жизнь. Я никогда не видела этих Савушкиных, даже через решётчатую перегородку балкона, захламлённого артефактами хронологических периодов их бытия. Савушкиных, кажется, не коснулась эволюция. По крайней мере, так утверждает маман. Она часто приходит на кухню послушать чужую хронику. Послушает-послушает и с довольным на губах «у нас ещё ничего против ихнего» удаляется в свою вотчину к телевизору и телефону. И всякий раз вечером идёт обстоятельный рассказ подруге Асе Давидовне о дневных приключениях: что в доме, что у соседей.

У Савушкиных залаял Зверь, видимо, всё-таки назревает очередное. Голос Зверя я отличаю от всех собак в округе. Дворняги почти исчезли из

микрорайона, вслед за тараканами и снегирями. Остались, кажется, одни вороны и крысы, ну ещё прожорливые помоечные голуби. Возле подъезда несколько раз натыкалась на бродячую дворнягу с глазами пленного. Подкармливала. И спрашивала, Зверь, а ты не из Савушкиных будешь? Савушкины, они барскими привычками псину не балуют: вот ещё, собаку выгуливать - выпускают питомца с четвёртого этажа и нимало не заботятся о его пропитании. Зверь возвращается на четвёртый сам, обгоняя жильцов. Зверь мог бы устроить свою жизнь, круто развернув, поменяв на счастливую. Но всё поздно. Он любит Савушкиных. Он уже здесь – в пленных. Мы все сюда приглашены. Тайна лишь в предназначениях.

Я две недели из своего отпуска слушаю, что мама была права, когда не советовала мне выходить за Кислова. Все двадцать с хвостом лет мать повторяет мне это, намеренно меняя окончание фамилии Кислова на Кислого. Они с сестрой – Лёкой – ещё до нашей свадьбы ёрничали: будешь Ириной Кислой, жизнь закиснет, окислится, прокиснет. Костром пропахнешь рядом со своим недрокопателем. И что скажет Ася Давидовна? Из дворян Вельяминовых в Кислые. Из консерватории в замуж.

Ма, ну не чваньтесь вы, в наш род дворян и не заносило. И папа не был музыкантом, лишь настройщиком. Теперь тыкают в стигму, вот, вот, предупреждали, мол. Обе знают, что мне больно. Обе тыкают. Мои самые родные, самые близкие, мне больно. Смотрите, мне больно. Мне больно тут у вас на раскладушке. Мне всегда было больно рядом с вами. И та боль стихала только на расстоянии, и то ненадолго. Стоило услышать голос матери в трубке, как волна дурноты подступала к горлу, паника нарастала. Я, будто бы припугнутое углом дитя, металась в поисках убежища. Но из вежливости приходилось выслушивать весь разговор. Всё про меня и Лёку. В основном про Лёку и немного про меня. И каждый раз после тех разговоров ко мне приходили виноватые сны. Иногда ночью я нащупывала умную мысль, как высвободиться из плена. Но всякий раз утром оказывалось: умную мысль заспала. И снова беспомощно озираюсь посреди духовного террора. А если их – моих драгоценных – спросить, понимаете ли вы, что зажираете чужую жизнь, ведь совершенно искренне изумятся – не желают ничего плохого. И будут чисты в своём изумлении – никто не посмеет их обвинить в преднамеренности. Просто так вышло, сложилось, изреклось. *Мы, они...* и отдельно я. Ничего с тем не поделать. Хотя ещё не оставляю попыток. А вот дочь моя – из поколения трезвомыслящих миллениалов – иронично констатирует: любые твои попытки обречены на неудачу, тебе никогда не стать для них лучше. И Кислов подтрунивал, укорял, злился, отчитывал.

Начнется, мол, с благородных целей воссоединения семьи, а кончится водевилем.

Кислов никогда не понимал, что мне в том критическом случае нужна от него сугубо поддержка, утешение, молчаливый кивок: да, да, понимаю. Он поражался, как так безнадежно можно зависеть от матери и младшей сестры. Как можно реагировать на всякую их критику, их требование, перманентное недовольство? И с его стороны – нелепость говорить расхожее, что я подпитываюсь негативом, что мне нравится быть несчастной. Как это банально глупо, Кислов! Как можно не понимать главного про ту, с кем делишь постель двадцать лет? Мне никогда не нравилась боль. Я еле выношу эту родовую травму. И я так много прошла, чтобы честно сказать себе, что зависима от них, больна ими, моими – самыми близкими двумя женщинами. Я будто бы брачный договор с ними заключила, с матерью и сестрой, я будто отчуждаться не могу; на всю жизнь крови эти во мне. Женщины воспроизводят несчастья друг друга, их мир сужается до размеров скандала, духовного взаимного террора. Но разойтись они не в силах, и то навязанное общежитие становится их адом, хотя, вероятно, не для всех. Кто-то чувствует себя сюзереном в феоде, кто-то – серым кардиналом, а кто-то – подмастерьем, «живым убитым», пленным, подстреленным, вассалом, иногда шутом.

- И как тебе удалось остаться нормальной в вашем паноптикуме? – недоумевал Кислов.

Есть у некоторых людей такая способность: ставить границы. Ты расположен к ним, ты доверяешь, раскрепощаешься. И вдруг за одним жестом или взглядом ощущаешь мокрую стену. Именно шершавую поверхность в испарине. И тревожно прохладный полумрак. Так у меня с сестрой. Лёка – несчастная, говорит наша мать. Считает ли себя несчастной сама Лёка – под сомнением. Когда-то я спрашивала мать: чтобы нам – сёстрам – уравниаться, мне нужно стать одинокой?

Вот теперь живу у них на раскладушке. Лёка беззлобно говорит мне: поешь-поешь моего горя, погори моим огнём. Мать по-прежнему не жалеет. Не верит в моё одиночество?

А ведь Кислов ту-ту... за тридевять земель от семи московских холмов и сорока сороков церквей. И девочка наша выросла, поступила в университет, и теперь нам с Кисловым не перед кем ломать комедию. Дочь уехала, исправно пишет отчётные эсэмэски из Европы. А Кислов, не выдержав очередного

моего заскока, самоговора и бдений покаяния, взял в главке командировку и с поста замначальника департамента засобирался в геологоразведочную партию куда-то на Курилы – рядовым буровщиком в шлиховой отряд. Перед отъездом мы взаимно обвинили друг друга в дискриминации прав. Я не могла позволить, чтобы меня бросили, и ушла первой, едва завидев, как он достает с антресолей студенческий рюкзак. Меня не бросают, бросаю я – крутилось в голове по-тинейджерски необратимо. За две недели побега Кислов однажды звонил. Узнал про мою раскладушку на балконе и звезду над ней, сказал, чтоб кончила дурить и возвращалась домой. Что он приедет не раньше осени и наша квартира зря пустует. Что я напрасно отдаю себя на заклятие, явившись в логово родных ангелов и серафимов, прямиком в лесху. Зряшное возвращение блудницы в материнское лоно. Ещё он сказал...

— Угу. Хрен гну...

— За что мне это? Я же тебя, ублюдка, в брюхе носила...

Очередное у соседей переместилось на балкон.

— Выкинула бы. Я б по своей воле ж ни за что у такой... езданутой...

— ...Девять месяцев. Знала бы, что такой урод народится, выкинула бы.

— Семь месяцев, не девять. Недоношенным родила.

— Да за что же мне это? Всю жизнь на него положила, горбатилась, а теперь вот оскорбленья да тумачи сношу.

— Вмажу.

— Ой, ой, Господи! Убивают!

Снова что-то массивное ухнуло об пол. Снова залаял Зверь. Пожилая женщина зарыдала, прерываясь причитаниями: «Господи, Господи, да помоги же мне! Да сделай что-нибудь!».

Я позабыла о Курилах, о Кислове, бросила мыть посуду. Вылетела на балкон: «Эй, эй, вы там!» Но Савушкины, видимо, переместились в комнату, откуда вылетал крик и лай.

Лаял Зверь. Женщина непереносимо горько звала Господа. Я бухнулась на колени и, уставившись туда, где вечером является моя одинокая звезда, стала просить: «Помоги ей! Утоли её горе». Сзади меня тыкнули под левую лопатку. Маман, не переходя порожка балкона, дотянулась зонтом-тростью.

— Потоп решила устроить? Кто ремонт на три этажа оплачивать будет? Лёка никогда не забывает закрыть кран.

Ничего не случилось, маман подросла вовремя и остановила воду. Но без нравучений не обошлось. У Савушкиных развивалось. У нас назревало. Женщины и собака исходили на визг.

Маман выговорила, но, похоже, не намеревалась упускать «зрелище» за стеной и уселась пить чай. Я подала чайную пару. Оказалось, не ту. Утренняя - розового дулёвского фарфора, вечерняя – кобальтовая с майоликой. Вот и тут я прокололась, выставив непечатую банку варенья из шкафчика. Свежего урожая доставать рано, зимой не напасёшься. Салфетка, чайная ложка, розетка для косточек – вроде всё в ажуре. Ан нет, не успела выдохнуть – прилетело. «Ну и работку ты мне задала, как лисице доставать масло из кувшина. Лёка соображает быстрее». Вазочка с вареньем не пришлась: слишком узка горлом, не достать подсохшее вишневое с доньшка. «Нет, не верю людям, которые говорят, что им плевать, что о них думают. Разве неинтересно влезть в голову другого, узнать, что он только что о тебе помыслил?». «Главное, вовремя вылезти». «Что, что ты сказала, Ирина?» «Ничего, ма. Пойду мусор вынесу». Ведро ещё не доверху. Но мне не хотелось ни чаевничать, ни слушать соседское шоу. А вслед неслось: «Не стану твоего чаю, Ирина». Ага, как в наказание. Терзайся, дочь. И я терзаюсь.

К мусорному баку не подойти – будто мусорщики бастуют. За контейнерами вполне счастливая пара клошаров профессионально оценивает кожаную «косу», растягивая в четыре стороны. На обратном пути остановилась у третьего подъезда, подёрнула ручку железной двери. Тяжёлая, на магните. Окна Савушкиных, как и наши, выходят на другую сторону, номера квартиры не знаю, но разобраться на площадке четвёртого можно было бы. На лавочке возле – никого. Зато у второго подъезда сидит старушка, может, код от третьего знает. Подошла ближе. Сидит старушка на лавочке и тоненько скулит. Маленькая, как девочка, и поскуливает по-девчачьи. Я хочу сказать ей ласково: баушка. Но почему-то говорю голосом отставного боцмана:

— Мать, чего плачешь?

— Ребеночка жалко. Соседския.

Старушка поднимает на меня глаза, мутные маленькие голубые глазки, совсем детские, только мутные.

— Живо дитя?

— Живо. Я яму песни колыбельные пела. Два года, почитай, в няньках.

— Так чего же теперь слёзы льёшь, мать?

— Глухое дитя-то оказалось. Пошли родители к доктору, а ён и сказал, глухое дитя. Молодка сама, как Кабаниха, всё она – баба – решает, а ён – подкаблучник блажной...

Старушка-девочка снова заплакала. Вот и у неё всё уже поздно и ничего не поделаешь. И жить теперь, как живётся. Посидели, помолчали. Старушка побрела к подъезду. Ушла и я со своим пустым ведром.

У Савушкиных затишье. Мать на проводе с Асей Давидовной. Моё нынешнее присутствие от Асюли сперва тщательно скрывалось, но потом моё присутствие объявили не отпуском, а закономерным возвращением блудной дочери. С повинной. Теперь вот вести с передовой. «Да, да, наша-то пава пошла мусор выносить. Ей полезно, меньше будет чувствовать себя гением. Да, не от мира сего, в семье не без...юродивой. Лёка ей предлагала делить свою комнату – ни в какую, вот назло на балкон выселилась. Немым укором. Всегда такая была, эмансипе, с детства наперекор. Нет сил, нет сил терпеть её. Как жить, как жить мне? Я не будирую. Одна ласковая и заботливая, другая – холодная и трудновоспитуемая. Одна – моя гордость, другая – невдаля. У моей Лёки лёгкий характер. Вот, Асюлечка, у тебя сын – холостяк, у меня дочь – незамужняя. Я не будирую, Асюля. Но как же так выходит, двое лучших, таких замечательных детей и не устроены?! Ну да, ну да, и не говори...»

Подслушивать, конечно, гадко. И как только чужой монолог завораживает и вызывает жалость к себе самой, так надо сразу разворачиваться и убегать. Не то услышишь что-то непоправимое. Нарочно громко стукнула дверью балкона. У меня тут хорошо, даже не тесно. Раскладушка со спальным мешком, продавленное кресло, эмигрировавшее из комнат за старомодностью, столик с настольной лампой. Ещё у меня тут старые валенки, вечерами прохладно и в войлоке уютно. Картонный Никола Угодник в углу карниза, в целлофан обёрнутый на случай дождя. И папина пепельница-утёнок на трехногой табуретке, Лёка иногда выходит покурить, прячась от матери. Маман знает, что Лёка балуется – не осуждает, потому как в Лёкином исполнении всё всегда одобряется и осуждению не подлежит.

Маман дружит с Асюлей со времён разрушения Карфагена: обе развелись с мужьями, обе мужей схоронили, считая себя законными вдовами. При удивительном единении харизм периодически между подругами происходят

пунические войны, всякий раз оканчиваясь выяснением взаимных упрёков и бурным примирением. К приходу в гости ещё замужней Аси маман готовилась как к посольскому приёму: заблаговременно и скрупулёзно, негуманно загоняв нас – домашних – как бездарных подданных. Приём от сервировки до десерта не должен был повторить прошлые достижения. Когда же Асюля с супругом и сыном-наследником отбывала восвояси, маман с облегчением выдыхала вслед: «Пережили гостей».

Нет, всё-таки единственный важный для человека юбилей — это столетие.

Сейчас бы психоаналитик спросил: зачем же возвращаться туда, где вам больно. Излечиться. Даже боль - она моя, родная, она домашняя. В той боли я у себя дома. Где мать – там и родина. К психоаналитикам я никогда не ходила, отношусь к поколению ретроградов, коим такие штуки – моветон, дурь и блажь. Вытаскивай себя саму оттуда, куда загнала. Включай свой лабиринтовый аппарат – рыбью память – на заднюю скорость и выползай. А вы не знали, что люди произошли от рыб? Или, может быть, только те, как я, из родившихся под созвездием Рыбы.

— Убью!.. Гадина!.. Крыса...

— Ааа... Негодяй! Крысеныш...

— Годяй!..Годяй!...

— Убьюсь ... Я уже и площадочку бетонную под окнами присмотрела.

— Туда тебе и дорога, кикимора.

Если к зонтику-трости привязать вафельное полотенце, получится что-то вроде белого флага. Я придвинулась вплотную к заваленной хламом решётке и стала махать полотнищем в вытянутой руке, пытаюсь привлечь внимание на соседнем балконе. На манипуляции, приглашающие к перемирию, воинствующая сторона внимания не обратила. У меня уже рука отсохла. Но тут зонт, как назло, зацепившись, поддел из савушкинского склада лыжную палку, палка наподдала алюминиевому чайнику с кривым носом, а чайник сбил неваляшку. И, слетев с верхотуры хлама, они лишили спокойствия пирамиду, в которой годами копился «антиквариат». Часть пирамиды с грохотом осыпалась на пол балкона. Палка, чайник и неваляшка, стукнув, ухнув и булькнув по перилам, оживлённые от вековой спячки, рухнули вниз с четвертого этажа. Едва успев утянуть зонт обратно, я услышала ругательства с улицы и вопли Савушкиных. Мать и сын, не видимые за горой хлама, дружно

принялись переругиваться с прохожим, которому, надо понимать, досталось по спине или по голове одним из вылетевших предметов, а может, и всеми тремя сразу. Но цель достигнута – внутрисемейный конфликт перерос во внешний, по всему виду, не столь кровопролительный.

В Москве дождь. Москвички тотчас переоделись в чёрное. По ком траур носите, сестры?

После дождя похолодало. Но всё равно последние летние ночи ещё сносные. Правда, я сплю в шерстяном лыжном костюме, мне, кажется, купили его в восьмом классе на вырост, и в конькобежной шапочке. Оборачиваюсь в кокон спального мешка, натягиваю до подбородка, как будто голая, и стесняюсь, что подглядят. Так я первые дни замужества от Кислова пряталась: простыню дотяну до глаз и зырк-зырк в темноту. На потолке полосы, то ли лесенка от луны на землю, то ли рельсы со шпалами и дальняя дорога. А умные руки Кислова медленно, непрекословно, убрали простыню с шеи, ключиц, груди, коленок. Со ступней я сама скидывала, оголяла пятки: терпеть не могу баб и мужиков в носочках.

Похолодало. Зато у меня своя звезда, прямо по курсу вверх, если лечь навзничь и вытянуться. Сейчас Кислов сказал бы: не звезда, а планета. Но Кислов где-то бурит шурфы или шельфы, всегда путаю. А у меня – отречение на балконе. Над ним, наверное, планеты, а надо мной звезда. Несколько раз у меня получалось взмыть вверх и приблизиться. Это головокружительно страшно. Кажется, тебя нет. Я оставалась стоять в валенках, вцепившись в железные перила, и я же взмывала высоко-высоко по прямой. Уносила с умопомрачительной скоростью, не достигая светящейся точки. Но притяжение и земные долги тут же тянули назад. Ууух...вжиг!..

— Не помешаю?

— Ты покурить?

— Утихли дебоширы?

— И часто у них так?

— Регулярно по пятницам, когда Гоша отдыхает от трудовой недели. Бывает ещё в субботу-воскресенье, когда Гоша звереет.

— Сегодня пятница. Но как же, соседи... Пошли бы, разобрались.

— Это ты мне в упрёк? Наивная дура. Мы решили не вмешиваться. По рогам ему надавать, так он только ещё больше на Ливерной Колбасе отыграется.

— Ливерная Колбаса, кто это?

— Савушкина-мать. Она с мясокомбината таскала ливерку, неликвид. Всю округу отоваривала. Себя обмотает сосисками и выносит на продажу. И Гошенька у неё привязан, как сосиска вокруг утробы.

— Надо как-то Гошеньку на место поставить. Сердце разрывается от её крика.

— Ты ещё второй акт не слышала. Там новый персонаж вступает. Приходящий.

— Кто это?

— Раймонда с «Пятёрочки» – невеста Гошина. Она на пересыпке крупы в подвале сидит.

— О, так у Гоши любовь. Не всё потеряно.

— Не всё. Раймонда жениха вразумляет за стопкой. На троих. Регулярный ликбез.

— А ты когда в невестах будешь?

— Зря стараешься, сестричка. У меня давно уже отмерли эти клетки. Не-больно.

— Ну разве мать с Асюлей не сватают тебя? Асюлин сын...

— Прежде чем уснуть, Вадик нюхает подушку. Ты могла бы спать с мужчиной, обнюхивающим подушку? А потом... Как меня раздражало, когда Ася Давидовна звала Вадюлю «посикать». Ты могла бы выйти замуж за человека, которого при тебе звали «посикать»?

— Ладно. Время ещё есть.

— Время ещё нет.

Помолчали.

— Мы решили... Да, а ты к нам на сколько... подселилась?

Иногда мы подолгу молчим с сестрой, смотрим на луну и понимаем: говорить, в общем-то, не о чем. Сходимся на одном – на отце. Папа был нашим островом счастья. Папа так умел любить, что каждая из нас заочно жалела другую, будто вся отцовская любовь достаётся только ей. Теперь он «висит» в зале. И каждая из нас забегают к нему на минуту, кивнуть, пока не видят другие, мельком проверить, как по барометру, дождливо ли настроение в семействе. Отец по-прежнему преданно и безусловно любит всех троих. Трое заглядывают к нему пожаловаться, исповедаться. Маман по праву первой ночи задерживается у портрета дольше остальных. А в минуты высшей экзальтации тычет пальцем в сторону зала и восклицает свистящим шёпотом, в котором кипят холодные упрёки: «Слышал бы сейчас твой отец, неблагодарная!» Бываю и я у портрета, жалоблюсь. А потом вдруг очнусь: с зародышем раздора – капусткой квашеной – и на тот свет обращаться, ну не позор ли?!

В Москве дождь. Выехали поливальные машины. Самое время. Дворник Джуманбек вышел стричь газон. Асфальт кладут азиаты в оранжевых безгендерных плащах-капсулах. Самое-самое время. Треск во дворе стоит с утра до ночи. То подрывают бордюры, то вскрывают прошлогоднюю кладку тротуарной плитки, то пилят тополя, то грузят пни, то стригут траву. Кажется, кто-то неуёмный, очень хозяйственный поселился в твоём дворе. Кажется, что-то нужное делают, чем-то заняты. А порядка нет и нет. Одна видимость. И тишины больше нет. Нет в городе тишины.

— Ирина, где вафельное полотенце?

— Сейчас достану свежее, мам.

— Когда?

— Через три минуты.

— Кошмар! Три минуты — это слишком долго. Где оно?.. Ещё не успело запачкаться.

— Запропастилось.

— Вот Лёка никогда ничего не теряет. Запирать комод надо. Не напасёшься на вас.

— Запирай. От чистых людей.

— А... ты мать упрекать? Неблагодарная. Кстати, котлеты сегодня подгорели. Лёка делает паровые. Это гораздо полезнее.

Промолчу. Минута промолчания.

Ну разве объяснишь, что белый флаг как атрибут возможного примирения висит среди чужого скарба на соседнем балконе. Говорят, половина ада вскипает на земле, вот некоторые и жарятся тут на своих сковородах. Всё поздно. Ничего не поделаешь. Теперь жить как живётся.

Жизнь вокруг шумная, разнообразно-активная, но как не ощущать тесноты: все мы живём в навязчиво тесной полуреальности. Где дворник фырчит газонокосилкой по мокрой траве, где кладут горячий асфальт в дождь, где мать с сыном сплелись в губительный узел неразмыкаемой муки.

— Не могу больше. Не могу...люди добрые...

— Форточку закрой, дура.

— Нет сил у меня больше. Нет сил!

— Фортку закрой, сказал.

— Ты меня раздавил как личность. И как мать... Сам фортку захлопни, алкаш.

— Я алкаш? Сама-то алкашка старая.

— Проклянну!

— Сдохнешь раньше.

Хлопок, как пощёчина или выстрел. Голоса забубнили неразборчиво, словно актёры ушли в глубь кулис.

Да, мать с сыном сплелись в губительный узел неразмыкающейся муки. Война серых крыс с чёрными. Кунсткамера. Крысиный король в зародыше. Вспомнилось, как Кислов рассказывал о крысином короле. Бывает в природе случай, когда крысы срастаются сломанными, перекрученными хвостами в один многоголовый организм. Однажды они слипаются от жары или смерзаются от холода и дальше уже всю жизнь копошатся вместе, не в силах разъединиться. Живут, стареют и умирают вместе. И ненавидят друг друга, потому что тело у них одно, крови одни, а мысли и желания разные. На пике ненависти эти беспомощные, зависимые, жалкие в своей слепоте сродники начинают грызть друг друга, того, кто в зоне досягаемости, кто ближе – то есть самих себя.

Возвращаются голоса Савушкиных как из другой эпохи, из крысиных подземелий, из булькающих колб кунсткамеры.

— Всё ведь просадишь, всё прожрёшь... Нету у тебя уважения. Никакого к моему возрасту уважения.

— А должно быть?

— Ты не имел права брать... не имел права. Без спроса.

— Я не брал, ссука... Заткнись, иерихонская.

— Как жить-то? Жить мне как?!

— О Родине думая...

— А она о мне думат? Чё я о ней думать буду?

— Заладила. Живёшь же, недохнешь. Могла ещё при Ельцине опрокинуться. При Горбаче... грёбаном.

— Горбача не тронь, евоная жена... А твой Ельцин, ён... с моста...

— Что?! Ты в геополитике не разбираешься, дура вонючая. Если бы не Ельцин... Ну всё, всё... сама напросилась...

— Аа... Люди добрые... Убивают! Люди, ради Христа... Христа ради!

Нет, они, конечно, правы – маман и Лёка – и даже Ася Давидовна права: нервы мне лечить надо. Только психически неустойчивые за полторы минуты бегом, в фартуке поверх лыжного костюма, преодолевают дважды с первого по четвёртый этаж: сперва вниз, потом вверх. Только такие, психические, рывком открывают намагниченную подъездную дверь, несутся через ступеньку в валенках на босу ногу, забыв о лифте, слышат на лестничных пролётах разносимый подъездным эхо трубный зов за спиной, как зов лося-победителя в брачных играх. Только такие придурошные, ни на что наружное не обращающие внимания, слушая правоту, пульсирующую в груди, несутся к цели, подчинившись решению одного момента.

Я бежала на лай. Дверь в квартиру не заперта. В джунглях коридора, между детским жестяным корытом и «Школьником» без колёс, перевела дух. Несло гумусом. При виде меня сперва смолкла заходившаяся в лае собака, потом прекратил материться худосочный мужик в тельняшке и сатиновых трусах до колен. Примолкла и женщина в ночнушке, которую мужик волок за волосы по полу. Зверь быстрее людей освоился и принялся отрабатывать свой хлеб.

Бросившись на меня с грозным лаем, он мягко ткнулся носом чуть ниже икры: помнил котлетки и сахарную косточку. Старушка на полу завывала с новой силой, истошно и смертно – видимо, жалость к себе в присутствии чужого человека захлестнула её неостановимо. Тут и «тельняшка» очухалась. Кинув старуху на пороге, словно мешок, хозяин пошёл на меня, в левой руке его сверкнуло лезвие или нож. «Гоша перезверел», – пронеслось в голове, – скальп снимать собрался». Я в три секунды решила прыгнуть мужику в ноги, выбить ножик из рук. Тело старушки обмякло на пороге совершенно неживым тряпичным кулём, но из куля исходили стоны и всхлипы. «Главное – старуха, старуха – главное», - успела подумать я перед броском. Гоша обронил своё оружие. Я, поднимаясь с колен у свернувшегося калачиком обидчика, беззвучно, по-рыбьи хватаящего воздух губами, успела увидеть на пороге кухни заспанное лицо незнакомой женщины, замахнувшейся скалкой. А перед ударом ещё и лицо Кислова в треснувшем поперёк зеркале.

Теперь мы вчетвером сидим тут – в «обезьяннике». На лавке слева Кислов и я; моя голова у него на коленях. Он гладит упрямую чёлку, ухо, шишку на моём лбу, я морщусь. Напротив, справа, собачатся Раймонда и Савушкин; она выспавшаяся и протрезвевшая, Гоша – ещё подшофе. Предмет их спора – Меркель и скандинавская ходьба. Изредка Раймонда бросает в нашу сторону презрительные взгляды, её сожитель исподлобья взглядывает на Кислова и, ощупывая припухшую челюсть, отворачивается. Наряд вызвали быстро, соседи натренированы. Старушку Савушкину отвезли на «скорой» с сердечным приступом. Зверя выпустили гулять. А меня как гражданку без документов, в лыжном костюме, фартуке и валенках, под шумок и неразбериху летним вечером забрали в отделение. Под железобетонное и непререкаемое «там разберёмся» Кислов сдался добровольно и вызвался сопровождать. Вот уже третий час молоденький дежурный и капитан постарше вяло разбирали наши обстоятельства, то и дело отвлекаясь на новые происшествия.

За это время я чего только не передумала: как-то нужно научиться глушить свой страх перед посторонним недовольством и скепсисом. Мы ходили по кругу все сорок моисеевых лет. Разжигали холод или гасили огонь, мы сплетались хвостами. Твоё неизбывное притязание к ним – любите меня, примите меня – только раздувало затухающие угли соперничества. Не тут было мне страшно – в «обезьяннике», не у Савушкиных в коридорном бедламе, а вот там – на балкончике благополучной квартиры.

Мы живём во времена подмен, тотального некачества, токсичности отношений, во времена прокрустовой лжи, времена новых суффиксов и женщин в профиль. Едим молочносодержащее, больше не считаем, что врать стыдно. Части корней называем суффиксами, приставки – префиксами. Боимся фотографироваться анфас. Мы живём в искажении и оправдываем кривое.

— Ты чего на меня так близко смотришь? Ты вообще откуда взялся?

— С поезда. Вчера самолётом в Питер. Сегодня «Сапсаном» в Москву. Бродил по бульварам. Наверное, всё кольцо обошёл, пока решился.

— Ты мой бульвардье.

— Мне без тебя, Иркин, душно. И пусто. Смотрел на гейзеры, на красоту невероятную, а везде одно и то же – лицо твоё.

— Так Россетти нашёл свою Элизабет. Ой, больно...

— Кто этот Россетти?

— Прерафаэлит. Россетти влюбился и всюду видел только лицо Элизабет.

— Она тоже ходила в лыжном костюме?

— Этот огород в мой камень?

— Впрочем, в вашем дурдоме немудрено стать ненормальной. У вас за обеденным столом любители двинуть вилкой в бок под крахмаленной скатертью, по-родственному.

— Они добрые, хоть и злые. А вилкой это, скорее, герой Гоша... В хмельной руке банальная овощерезка превращается в лезвие бритвы. Какой он жалкий сейчас...

— Безобидный тип.

— Ага, сама невинность с тридцатью приводами.

— Втёрся в недоверие.

— Однако, влип ты со мной, Кислов.

— Не в первый раз. Бабы часто бездумно стравливают и подзуживают. А подстрекание для мужиков кончается кровью. Полный фарфолен. Но тут я сам. Кричу тебе, кричу, а ты мимо. Торпедой.

— Теперь для маман и Лёки я значусь в безнадежно потерянных. А про Асю Давидовну и говорить нечего – навечно записана в маргиналки. Асюля давно намекала мне на девиантные настроения и излишнюю аффектацию.

— Ну это она зря. Ты у меня ручная.

— Вот и кончилось моё хождение за любовью.

— Знаешь, Иркин, есть простая формула: мы все больше любим того, в ком больше от нас самих.

— Не утешает, Кислов.

— Не утешает? Ещё раз: пораскинь, Иркин, ведь ты никогда не хотела быть похожей на сестру, а это значит...

— Ты непроходимый циник. Блажной циник. Зачем ты так близко на меня смотришь?

— Если бы тебя не было, я бы тоже не был.

Кислов прикрыл мне рот ладонью, чтобы я не смогла ничего возразить и только молча хлопала ресницами. Говорят, у тех, кто любит, всегда тёплые руки. Его ладонь пахла теплом смолы и хвои, никакого дыма и костра. Когда его пятерня увесисто и по-хозяйски улеглась мне на живот, возражать расхотелось.

Загремели железным засовом. Всё четверо встрепенулись. Но капитан смотрел только в нашу с Кисловым сторону. Савушкин с Раймондой, как ни в чём ни бывало, засобирались на выход, капитан, покосившись, цыкнул, и те двое послушно уселись на лавку. Капитан тряс Кислову руку, излишне извинялся. Выговаривал мне за нахождение вне дома без паспорта. Я согласно кивала и под туманно отдалённый, будто не ко мне обращённый призыв: «Кислая, на выход», - не могла сдвинуться с места, таращилась за окно дежурки, где под тощим фонарём бледнели два тревожных родных профиля.